
МИХАИЛ
ШОЛОХОВ
Судьба человека
ЛАУРЕАТ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ
АЗБУКА-КЛАССИКА

Азбука-классика

Михаил Шолохов

Судьба человека

«Азбука»
1941-1969

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Шолохов М. А.

Судьба человека / М. А. Шолохов — «Азбука», 1941-1969 — (Азбука-классика)

ISBN 978-5-389-09941-8

Михаил Александрович Шолохов – один из самых выдающихся писателей русской советской литературы, лауреат Нобелевской премии, автор романов «Тихий Дон» и «Поднятая целина». В настоящее издание вошли произведения автора, посвященные Великой Отечественной войне: «Они сражались за Родину», «Судьба человека», «Наука о ненависти», «Очерки военных лет» – возможно, наиболее пронзительные, яркие, трагичные и вместе с тем жизнеутверждающие тексты, созданные на тему войны не только в отечественной, но и в мировой литературе.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-389-09941-8

© Шолохов М. А., 1941-1969
© Азбука, 1941-1969

Содержание

Они сражались за Родину 6
Конец ознакомительного фрагмента. 22

Михаил Шолохов
Судьба человека

Серия «Азбука-классика»



© М. А. Шолохов (наследники), 2026
© Оформление. ООО «Издательство АЗБУКА», 2015 Издательство Азбука®

Они сражались за Родину
Главы из романа

Перед рассветом по широкому суходолу хлынул с юга густой и теплый весенний ветер.

На дорогах отпотели скованные ночными заморозками лужи талой воды. С хрустом стал оседать в оврагах подмерзший за ночь последний, ноздреватый снег. Кренясь под ветром и низко пластаясь над землей, поплыли в черном небе гонимые на север черные паруса туч, и, опережая их медлительное и величавое движение, со свистом, с тугим звоном рассекая крыльями повлажневший воздух, наполняя его сдержанно-радостным гомоном, устремились к местам вечных гнездовий заждавшиеся на полдороге тепла бесчисленные стаи уток, казарок, гусей.

Задолго до восхода солнца старший агроном Черноярской МТС Николай Стрельцов проснулся. Жалобно скрипели оконные ставни. В трубе тонко скулил ветер. Погромыхивал плохо прибитый лист железа на крыше.

Стрельцов долго лежал на спине, закинув руки за голову, бездумно глядя в сумеречную предрассветную синеву, вслушиваясь то в порывистые всплески ветра, бившегося о стену дома, то в ровное, по-детски тихое дыхание спавшей рядом жены.

Вскоре по крыше дробно застучали дождевые капли, ветер немного притих, и стало слышно, как по водосточному желобу с захлебывающимся бульканьем клокочет, журчит вода и мягко и тяжело падает на отсыревшую землю.

Сон не приходил. Стрельцов поднялся, тихо ступая босыми ногами по скрипящим половицам, прошел к столу, зажег лампу, присел выкурить папиросу. Из щелей между небрежно подогнанными половицами тянуло острым холодком. Стрельцов неловко поджал голенастые ноги, потом устроился поудобнее, прислушался: дождь шел не только не ослабевая, но все более усиливаясь.

«Хорошо-то как! Еще прибавится влаги», – довольно подумал Стрельцов и сейчас же решил поехать утром в поле, посмотреть озимые колхоза «Путь к коммунизму» да кстати заглянуть и на зябь.

Докурив папиросу, он оделся, обул короткие резиновые сапоги, накинул брезентовый плащ, но шапку никак не мог найти. Долго искал ее под вешалкой, в полуосвещенной передней, за шкафом, под столом. В спальне, тихонько проходя мимо кровати, на минуту остановился. Ольга спала, повернувшись лицом к стене. По подушке беспорядочно разметались белокурые, с чуть приметной рыжинкой волосы. Ослепительно-белое плечико ночной рубашки, почти касаясь коричневой круглой родинки, глубоко врезалось в полное смугловатое плечо.

«Не слышит ни дождя, ни ветра… Спит так, как будто совесть у нее чище чистого», – подумал Стрельцов, с любовью и ненавистью глядя на затененный профиль жены.

Он постоял еще немного возле кровати, закрыв глаза, с глухой болью на сердце воскрешая в памяти несвязные и, быть может, не самые яркие воспоминания о недавнем счастливом прошлом и всем существом своим чувствуя, как медленно и неудержимо покидает его тихая радость, навеянная вот этим предрассветным дождем, бурным ветром, ломающим зимний застой, преддверием трудной и сладостной работы на колхозных полях…

Без шапки Стрельцов вышел на крыльцо. Но не так, как в былые годы, воспринял он теперь свист утиных крыльев в аспидном небе, и уже не с прежней силой охотничьей страсти взволновал его стонущий и влекущий в неведомую даль переклик гусиных стай. Что-то было отравлено в его сознании за тот короткий миг, когда смотрел в родное и в то же время отчужденное лицо жены. Иначе выглядело сейчас все, что окружало Стрельцова. Иным казался ему и весь необъятный, весь безбрежный мир, проснувшийся к новым свершениям жизни…

Дождь все усиливался. Косой, мелкий, спорый, он по-летнему щедро полил землю. Подставив открытую голову дождю и ветру, Стрельцов жадно шевелил ноздрями в тщетной надежде уловить пресный запах оттаявшего чернозема, – нахолодавшаяся земля была бездыханна. И даже первый после зимы дождь – бездушный и бесцветный в предутренних сумерках – был лишен того еле приметного аромата, который так присущ весенним дождям. По крайней мере так казалось Стрельцову.

Он накинул на голову капюшон плаща, пошел к конюшне, чтобы подложить коню сена. Воронок зачуял хозяина еще издали, тихо заржал, нетерпеливо перебирая задними ногами, гулко стуча подковами по деревянному настилу пола.

В конюшне было тепло и сухо. Пахло далеким летом, степным улежавшимся сеном, конским потом. Стрельцов зажег фонарь, положил в ясли сена, сбросил с головы капюшон.

Коню было скучно одному в темной конюшне. Он нехотя понюхал сено, всхрапнул и потянулся к хозяину, осторожно прихватывая шелковистыми губами кожу на его щеке, но, ткнувшись нежным храпом на жесткую щетину хозяйских усиков, недовольно фыркнул, жарко дохнул в лицо пережеванным сеном и, балуясь, стал жевать рукав плаща. Будучи в добром духе, Стрельцов всегда разговаривал с конем и охотно принимал его ласки. Но сейчас не то было у него настроение. Он грубо оттолкнул коня и пошел к выходу.

Еще не убедившись окончательно в дурном расположении хозяина, Воронок игриво повернулся, загородил крупом проход из станка. Неожиданно для самого себя Стрельцов с силой ударил кулаком по конской спине, хрипло крикнул:

– Разыгрался, черт бы тебя!..

Воронок вздрогнул всем телом, попятился, часто переступая ногами, пугливо прижался боком к стенке. Чувство стыда за свою неоправданную несдержанность шевельнулось в душе Стрельцова. Он снял висевший на гвозде фонарь, но не погасил его, а зачем-то поставил на пол, присел на лежавшее возле двери седло, закурил. Спустя немного сказал тихо:

– Ну, извини, брат, мало чего не бывает в жизни…

Воронок круто изогнул шею, вывернул фиолетово поблескивающее глазное яблоко, посмотрел на понуро сидевшего хозяина, потом стал лениво пережевывать хрупающее на зубах сено.

Грустно пахло на конюшне увядшими степными травами, по-осеннему шепелявил, падая на камышовую крышу, частый дождь, брезжил мутный, серый рассвет… Стрельцов долго сидел, уронив голову, тяжело опираясь локтями о колени. Ему не хотелось идти в дом, где спит жена, не хотелось видеть ее рассыпанные по подушке белокурые, слегка подвитые волосы и эту страшно знакомую круглую родинку на смуглом плече. Здесь, на конюшне, ему было, пожалуй, лучше, покойнее…

Он распахнул дверь, когда почти совсем уже рассвело. Грязные клочья тумана висели над обнаженными тополями. В мутно-сизой мгле тонули постройки МТС и еле видневшийся вдали хутор. Зябко вздрагивали под ветром опаленные морозами, беспомощно тонкие веточки белой акации. И вдруг в предрассветной тишине, исполненное нездешней печали, долетело из вышней, заоблачной синевы и коснулось земли журавлиное курлыканье.

У Стрельцова больно защемило сердце. Он проворно встал и долго, напрягая слух, прислушивался к замирающим голосам журавлиной стаи, потом глухо, как во сне, застонал и проговорил:

– Нет, больше не могу! Надо с Ольгой выяснить до конца… Больше не могу я! Нет моих сил больше!

Так безрадостно начался первый по-настоящему весенний день у раздавленного горем и ревностью Николая Стрельцова.

А в этот же день, поутру, когда взошло солнце, на суглинистом пригорке, неподалеку от дома, где жил Стрельцов, выбилось из земли первое перышко первой травинки. Острое бледно-

зеленое жальце ее пронзило сопревшую ткань невесть откуда занесенного осенью кленового листа и тотчас поникло под непомерной тяжестью свалившейся на него дождевой капли. Но вскоре южный ветер прошелся низом, влажным прахом рассыпался отживший свое кленовый лист, дрогнув, скатилась на землю капля, и тотчас, вся затрепетав, поднялась, выпрямилась травинка – одинокая, жалкая, неприметная на огромной земле, но упорно и жадно тянущаяся к вечному источнику жизни, к солнцу.

Около скирды соломы, где почва еще не отошла от морозов, трактор «ЧТЗ» круто развернулся и, выбрасывая траками левой гусеницы ледяную стружку, перемешанную с жидкой грязью и соломой, ходко пошел к загону. Но в самом начале загона резко осел назад и, с каждым рывком все глубже погружаясь в черную засасывающую жижу, стал. Синий дым окутал корпус трактора, витым полотнищем разостлался по бурой стерне. Мотор заработал на малых оборотах и заглох.

Тракторист шел к вагончику тракторной бригады, с трудом вытаскивая ноги из грязи, на ходу вытирая руки паклей, вполголоса бранясь.

– Я говорил тебе, Иван Степанович, что сегодня начинать не надо, – вот и засадили трактор. Черт его теперь вызволит! Будут копаться до вечера, – раздраженно говорил Стрельцов, пощипывая черные усики, с нескрываемой досадой глядя на красное, налитое лицо директора МТС.

Директор только крякнул от огорчения, но ничего не ответил. Уже подходя к вагончику, он сбоку добродушно покосился на Стрельцова, сказал:

– А ты не расстраивайся. Нечего расстраиваться по пустякам. Не утонет твой трактор, и никакого лешего с ним не сделается! К вечеру вытянут его ребята, а через денек опять начнем пробовать. Спыток не убыток. Когда-нибудь надо же начинать, или будем пыли дожидаться? Ты на озимых был?

– Был дней пять назад.

– Ну как?

– Ничего, перезимовали. Внизу, около Голого Лога, частица замокла.

– Много?

– Нет, чепуха, так, поменьше двух гектаров, но подсевать придется. Сейчас опять проеду туда, посмотрю. А через день пробовать пахать ты и не думай, Иван Степанович! Знаю, ты человек упрямый, но от этого качества почва скорее не просыхает. Я на твоем месте перебросил бы два гусеничных в колхоз «Заря». Сам знаешь, почва там серопесчаная, пахать смело можно.

Директор испуганно замахал руками:

– А перегон? А пережог горючего? Об этом ты мне лучше не говори! Шутка дело, из-за каких-то двух дней гнать тракторы за двенадцать километров! Да меня за это на бюро райкома живьем скушают! Скажут, что не сумел вовремя расставить силы, недоучел, да мало ли чего еще там не наговорят на мою голову! Нет, о переброске я и слушать не хочу.

– Значит, по-твоему, пусть лучше тут тракторы простаивают?

Директор поморщился и молча махнул рукой, показывая, что считает разговор оконченным. Он вовсе не желал слушать новые доводы Стрельцова и ускорил шаг, но Стрельцов поравнялся с ним, спросил:

– Что же ты отмалчиваешься? Молчание не аргумент в твою пользу.

– Все сказано, и давай в бригаде без диспутов.

– Хорошо. Перенесем диспут, как ты говоришь, в другое место.

– Это куда же, например?

– Ну, хотя бы в райком.

Добродушие редко покидало сангвинического директора. И на этот раз он гулко захохотал, хлопнув мясистой ладонью по плечу Стрельцова:

– Ох и горяч ты, агроном Микола! А на горячих знаешь куда ездят? То-то и оно! Попробуй стукни в райком, так тебе же первому там холку намылят, да еще я нажалуюсь, что ты подменяешь меня и вмешиваешься в мои административные функции. Каково?

Неисчерпаемое добродушие покладистого Ивана Степановича всегда раздражало вспыльчивого Стрельцова. Не принимая шутки, но уже значительно мягче, он сказал:

– Я не вмешиваюсь, а советую…

Но директор прервал его:

– Главное дело – не волнуйся. При твоей тощей комплекции для тебя волноваться вредно.

Однако, увидев, что Стрельцов нахмурился, он оставил шутливый тон и заговорил по-деловому:

– Черт его знает, может быть, ты и прав. Я подумаю, потолкую с бригадиром, и если уж так, если на то дело пошло, то в ночь перекинем трактора в «Зарю». Там, безусловно, можно приступать к пахоте. Но мне-то думалось, что Романенко там сам управится. Надо ему звякнуть, узнать, приступил он к пахоте или все еще раскаивается. – И, обращаясь к подошедшему трактористу, укоризненно закачал головой: – Ах, Федор, Федор! Как же это ты, милок, ухитрился засадить трактор! А еще тоже в танкистах служил, был отличником боевой подготовки…

Тракторист Федор Белявин неспроста был прозван друзьями «Жуком Чернявиным»: сапоги, черные ватные брюки и такая же теплушка на широких плечах, черный треух с черным кожаным верхом, вороная челка, лихо свисающая из-под треуха, и смуглое лицо в неотмываемой копоти и мазуте – все оправдывало прочно прилипшую к нему кличку.

Насмешливо щурясь, сверкая синими белками глаз и белыми до синевы зубами, он ответил:

– По твоей милости засадил, Иван Степанович! Говорили тебе все мы – и бригадир, и агроном, и все трактористы, – что не пойдет трактор, так разве тебя переспоришь? В одну душу – пробуй, и все. А теперь вот и любуйся на него да помогай выручать. Силенки у тебя хватит. Ты сам с виду как «ЧТЗ». Откормился за зиму неплохо!

– Заплакал! – невозмутимо и слегка пренебрежительно сказал директор. – Вот уж ты и слезу пустил, а девчата считают тебя героем. Напрасно считают, так я думаю… Пойдем-ка глянем, как ты его загнал.

Они вдвоем направились к трактору. Туда же шел и бригадир еще с двумя трактористами. Стрельцов нехотя зашагал к вагончику, у которого был привязан Воронок. Ему не хотелось уезжать из бригады, где было свободней дышать, – на людях и в работе он легче переносил свалившееся на него горе, но посмотреть на озимые в окрестных колхозах было необходимо, и он медленно шагал по примятой, жухлой траве, глядя себе под ноги и тщетно стараясь отогнать вновь вернувшиеся мысли о жене, об ее отношениях с учителем Овражним, обо всем том, что последнее время лежало у него на сердце, как постыдная и горькая тяжесть, ни днем ни ночью не шло с ума и мешало по-настоящему жить и работать.

– Оставайтесь завтракать с нами, товарищ Стрельцов! Такой кулеш сготовила, какого вам в жизни не доводилось кушать! – крикнула бригадная стряпуха Марфа, когда понурый, сгорбленный Стрельцов проходил мимо полевой кухоньки, сложенной неподалеку от вагончика заботливыми руками какого-то тракториста – умельца по печному делу.

Стрельцов благодарно кивнул ей головой, нехотя улыбнулся:

– Налей, что ли, Марфа, а то до вечера домой не попаду.

Он присел на нижнюю ступеньку вагончика, принял из рук стряпухи горячую миску с кашей и только тут вспомнил, что не ел со вчерашнего утра. Но, отхлебнув несколько ложек вкусной, слегка попахивающей дымком жидкой каши, поставил на землю миску и – в который раз за это утро – снова достал из старенького кожаного портсигара помятую папироску…

Был уже на исходе май, а в семье Стрельцовых все оставалось по-прежнему. Что-то непоправимо нарушилось в совместной жизни Ольги и Николая. Произошел как бы невидимый надлом в их отношениях, и постепенно они, эти отношения, приняли такие тяжкие, угнетающие формы, о которых супруги Стрельцовы еще полгода назад никак не могли бы даже и помыслить. День ото дня исчезала былая близость, надежно связывавшая их прежде, ушла в прошлое милая интимность вечерних супружеских разговоров, и уже ни у одного из них не возникало желания поделиться своими тревогами и заботами, неприятностями и маленькими радостями по работе. Зато чаще, чем когда-либо, иногда даже по пустяковому поводу, вдруг вспыхивали ссоры и разгорались жарко, как сухой валежник на ветру, а когда наступало короткое примирение, оно не приносило облегчения и успокоенности. Недолгое затишье походило скорее на перемирие двух враждующих сторон и не снимало ни настороженности, ни скрытой, возникавшей откуда-то из потаенных глубин взаимной неприязни.

Еле ощутимый поначалу холодок в их отношениях все больше крепчал, становился пугающе привычным. Он входил в жизнь, превращался в неотъемлемую часть ее, и с этим уже ничего нельзя было поделать. У Николая иногда возникало такое, чисто физическое, ощущение, будто он длительное время живет в нетопленой комнате, постоянно испытывая непреходящее желание побыть на солнце, погреться…

Глядя на себя как бы со стороны, он замечал, что стал и на работе и дома несдержан, чрезмерно раздражителен; все чаще в общении с людьми овладевало им чувство нетерпимости, ничем не оправданной вспыльчивости. А ведь прежде таким он не был… Впрочем, подобные изменения наблюдал он и в характере Ольги. Все это способствовало возникновению случайных пререканий, неизбежно переходивших в ссоры.

С болью, с тоскливым выжиданием Николай чувствовал, как с каждым днем Ольга отдаляется от него, уходит все дальше, а он уже не в силах ни ласково окликнуть ее, ни вернуть. И вот это сознание собственного бессилия, невозможность что-либо изменить, томительное ожидание надвигающейся развязки и делало жизнь под одной крышей и непомерно тяжелой, и постылой.

Еще с весны Ольга под предлогом наступающих экзаменов проводила все свободное послеобеденное время то в школе, то у подруг-учительниц. Ребенку она почти не уделяла внимания, целиком передав его на попечение бабушки. Николаю незачем было искать предлогов, чтобы возможно реже бывать дома: весновспашка, очистка семян, сев яровых, а затем пропашных культур, забота о парах, прополка хлебов – все это полностью поглощало его время. По утрам он со смешанным чувством облегчения и горечи покидал дом, возвращался только ночью, когда Ольга, проверив тетради, уже спала, и это обстоятельство в какой-то мере помогало уменьшению стычек. Однако, избегая друг друга, внутренне опасаясь оставаться наедине, они оттягивали решающий разговор и тем самым усугубляли взаимные мучения и неустроенность в семье.

Разрыв, как видно, в равной мере страшил и Ольгу, и Николая, и хотя неотвратимость его была ясна для них – никто не хотел первым брать на себя инициативу.

Как ни странно, но теща Николая с самого начала семейного конфликта стала на сторону зятя. Несколько раз Николай, почему-либо возвращаясь домой в неурочное время, еще издали, со двора слышал отголоски бурных сцен между Ольгой и Серафимой Петровной. Но как только он брался в сенях за дверную ручку – в доме все мгновенно смолкало. Теща, поджав губы, проходила мимо Николая, величественная и неприступная в своем материнском негодовании, а Ольга с заплаканными глазами старалась поскорее исчезнуть из дома и после долго отсутствовала, появлялась только в сумерках, чтобы не так заметно было ее опухшее и подурневшее от слез лицо.

А тут еще маленький Коля. Ребенок с прозорливостью взрослого сразу заметил наступивший между отцом и матерью разлад, но, не будучи в состоянии понять его причины, потя-

нулся к бабушке: в ее комнатке, расположенной рядом с кухней, учил уроки, там же и спал, решительно переселившийся из своей комнаты под предлогом того, что ночью один боится. Николай не раз во время обеда или завтрака ловил его короткие вопрошающие взгляды, а както ответить на них не было возможности. Не того возраста был маленький пытливый человечек…

Ольга встречалась с Юрием Овражним не только в школе. Николай догадывался об этом, но заставить себя следить за женой не мог, не мог ни при каких условиях. Это было выше его сил. И тогда, когда она задерживалась допоздна в школе или у подруг, – он не выходил со двора, молча сидел в темноте на крылечке, курил, ждал. За калиткой звучали стремительные шаги Ольги. Он сумел бы различить их среди тысячи женских шагов, он знал на память эту летучую, быструю поступь. И всегда, заслышав знакомый перестук каблучков, испытывал легкое удушье и словно бы замедленное биение сердца. Ольга молча проходила мимо, опахнув его запахом свежего платья, теплой вечерней пыли, а он слегка отодвигал в сторону голенастые ноги, пропускал ее и шел следом на кухню. Там они молча ужинали, изредка перебрасываясь незначащими фразами, расходились спать. Утром все начиналось снова.

За всю весну Николай встретился с Овражним только раз – случайно, на улице. Он ехал верхом на Воронке в поле. Овражний шел ему навстречу к лавке сельпо. На улице стояли лужи, ветерок гнал по ним мелкую ребристую рябь. Вода в лужах нестерпимо блестела под солнцем, нагретый воздух был щедро напитан пресным запахом талого снега, влажного чернозема. Конь разбивал копытами воду, с всплеском летели по сторонам брызги, радужно вспыхивая на солнце; смачно чавкала и выворачивалась из-под конских бабок мазутно-черными комками грязь. Вразнобой голосили петухи, где-то в ближнем дворе истомно кудахтала курица, и, пробуя силы, пел в сизой дымчатой синеве косо снижавшийся на сырую землю выгона первый жаворонок. Такая умиротворенная благодать стояла над Сухим Логом, что Николай забыл обо всем на свете, покачиваясь в седле в такт лошадиному шагу, опустив поводья, всем существом своим бездумно радуясь и прохладному ветерку, и солнцу, ненадолго скрывавшемуся за облаками, похожими на прозрачные хлопья тумана, и несмелым певческим пробам жаворонка.

А тут, увидев невдалеке осторожно пробиравшегося возле плетня, оскользавшегося по грязи Овражнего, вдруг мгновенно почувствовал жестокую спазму подступившего к горлу удушья. Мир стал странно немотным, начисто лишился звуков. Николай видел только приближавшегося Овражнего. Видел всего с головы до ног: красивое, смугло-румяное, круглое лицо с черной полоской усов, смоляную челку, выбившуюся из-под примятого поля серой мягкой шляпы, нарядный, красно-черный четырехугольник вышивки украинской рубашки, серый в полоску пиджак, небрежно накинутый на широкие ладные плечи; видел разъезжавшиеся по грязи ноги в черных стареньких брюках и заляпанных грязью коротких резиновых сапогах. Таким Юрий Овражний и сохранился в памяти Стрельцова на всю жизнь, как мгновенно выхваченный кадр из цветного фильма. А в тот момент Николай неотрывно и жадно всматривался в лицо человека, разрушившего его жизнь, ставшего смертным врагом. Поравнявшись, Овражний весело блеснул зубами:

– Доброе утро, Николай Семенович! Ну и грязищу развело! А еще называется это божье место Сухой Лог.

Николай хотел ответить на приветствие, но в горле у него как-то тихо и хрипло забулькало. Он сделал судорожное глотательное движение, однако так и не смог ничего сказать. А когда поднимал к козырьку правую руку, то плеть повисла на ней, будто пудовая гиря…

Проехав шагов десять, Николай оперся левой рукой о подушку седла, оглянулся. Овражний смотрел на него, придерживаясь за колышек плетня, и на резко очерченных губах его бродила неясная улыбка.

До поворота в переулок Николай ехал шагом и снова слышал и довольное пофыркивание Воронка, и неустанно воспевавшего весну жаворонка. Мир снова обрел звуки, запахи, живое

дыхание… За поворотом Николай пустил Воронка крупной рысью, от хутора перевел его в намет и придержал только километра через полтора, в степи. И всадник, и конь, остановившись, разом тяжело вздохнули.

«А ведь я мог его убить. Всего несколько минут назад. Вот так спешился бы, подошел вплотную, протянул руку и вместо рукопожатия схватил за горло. А через мгновение он уже лежал бы в грязи подо мною. И кто бы его отнял у меня? Кто вырвал из моих рук? На улице – никого. Пока спохватились бы люди… Я сильнее, намного сильнее его. Левой рукой прижал бы правую руку к земле, и все, конец! А потом?..»

Не в меру услужливая память тотчас же на короткое мгновение подсказала, как он лет двадцать назад, еще будучи в институте, на вечеринке у однокурсницы едва не задушил оскорбившего его товарища. Тогда он разжал руки уже в беспамятстве, только после того, как сзади нанесли ему сильнейший удар по голове увесистой табуреткой… И вновь встало перед глазами красивое лицо Овражнего, его неуверенная блуждающая улыбка…

Николай ощутил легкую тошноту, стянул с головы фуражку. Руки его стали влажными от пота.

С той поры он старательно избегал встреч с Овражним. Не надо было искушать судьбу. Нельзя было играть чужой и своей жизнью…

А неопределенность в семье словно бы прижилась и пустила корни. И только в первых числах июня невеселую эту жизнь встряхнула неожиданно полученная из Кисловодска телеграмма от старшего брата Николая. Ее вручили Стрельцову в конторе МТС утром. «Второго поездом двадцать два вагон семь буду станции встречай обнимаю Александр».

Не в силах сдержать радостной улыбки, Стрельцов несколько торопливее, чем обычно, вошел в кабинет директора, тихонько положил на стол телеграмму:

– Жду гостя, Иван Степаныч!

Из-под очков в металлической оправе директор удивленно взглянул на Николая:

– Неужели братец едет?

– Он самый.

– Так ведь у него же путевка вроде до половины июня?

Все так же улыбаясь, Николай развел руками:

– Похоже, что не выдержал режима, удрал до срока. Там в новину не очень-то приятно; а он, насколько я помню, на курорте впервые. Он всегда предпочитал вольный отдых, охоту, рыбалку.

Директор еще раз прочитал телеграмму, сунул очки в грудной карман старенького парусинового пиджака, удовлетворенно сказал:

– Ну что же, молодец твой брат, Микола. Он правильно рассудил. У нас он и отдохнет лучше, и сердце тишиной подлечит. На нашем степном полынном воздухе, я так разумею, не только сердце, но и всякую другую хворость с успехом можно лечить. Где-то я читал, что даже граф Толстой к башкирам ездил, воздухом лечился и кумыс пил. Ну насчет кумыса это еще как сказать… Пил я его в Гражданскую войну у калмыков и так определил: решительно от него никакой пользы русскому человеку не может быть! Одна отрыжка в нос и в животе бурчание, а пользы ни на грош! Пил я из любопытства и парное кобылье молоко. Ты никогда не пробовал, Микола? Нет? И не пробуй. Голубенькая водичка, чуть сладит, пены много, а пользы от него или сытости тоже ничего не заметил, да и заметить невозможно, потому что ее нет. – Помолчал немного и для вящей убедительности добавил: – Конечно, одним воздухом, даже нашим, не прокормишься, но у нас вдобавок к воздуху не паршивый кумыс, а природное коровье молоко, неснятое, пятипроцентной жирности, яйца тепленькие, прямо из-под курицы, а не какие-нибудь подсохлые, плюс сало в четверть толщины, ну разные там вареники со сметаной, молодая баранина и прочее, да тут никакое сердце не выдержит и постепенно придет в норму. А если к этому добавить добрый борщ да по чарке перед обедом, то жить твоему братцу у нас

до ста лет и перед смертью не икать! Правильное решение он принял – ехать к нам! Исключительно правильное!

Столько детски наивной, простодушной убежденности было в словах пышущего здоровьем степняка, что Николай, уже откровенно посмеиваясь, сказал:

– Я тоже так думаю, Степаныч, а как насчет машины?

– Какой может быть разговор, бери ее утром и кати на станцию встречать.

– Тебе-то самому она не понадобится?

– Я и на лошадях съезжу в случае чего, а ты бери машину. Братец-то генерал, да еще пострадавший, неудобно кое-как встречать. Скажи шоферу, пусть готовится, и езжай пораньше. Вези аккуратней, не растряси по нашим кочковатым дорогам, человек-то больной.

– Спасибо, Степаныч!

– Еще чего недоставало. С радостью тебя, Микола!

– Еще раз спасибо. Радость действительно для меня большая. Девять лет не виделись.

Директор встал из-за стола:

– Я – в мастерскую, а у тебя какие планы?

– Надо предупредить своих, приготовиться к встрече. Разреши сегодня побыть дома.

– Само собой. Может, чем-нибудь помочь?

– Благодарю, все есть, управлюсь сам.

Потоптавшись около стола, директор подошел к Николаю вплотную, спросил почему-то шепотом:

– Он сколько просидел, Микола?

– Без малого четыре с половиной года.

Иван Степанович горестно сморщился. Потом решительно прошагал к двери, закрыл ее на ключ, жестом пригласил Стрельцова садиться, а сам так тяжело опустился на древнее, дореволюционного изделия креслице, что оно не заскрипело, а жалобно взвыло под ним. После недолгого молчания спросил:

– Как думаешь, почему брата освободили?

Стрельцов молча пожал плечами. Вопрос застал его врасплох.

– Ну все-таки, как ты соображаешь?

– Наверное, установили в конце концов, что осудили напрасно, вот и освободили.

– Ты так думаешь?

– А как же иначе думать, Степаныч?

– А я так своим простым умом прикидываю: у товарища Сталина помаленьку глаза начинают открываться.

– Ну, знаешь ли… Что же, он с закрытыми глазами страной правит?

– Похоже на то. Не все время, а с тридцать седьмого года.

– Степаныч! Побойся ты Бога! Что мы с тобою видим из нашей МТС? Нам ли судить о таких делах? По-твоему, Сталин пять лет жил слепой и вдруг прозрел?

– Бывает и такое в жизни…

– Я в чудеса не верю.

– Я тоже в них не верю, но как-то надо нам объяснить этот случай с твоим братом? Раскрутил же товарищ Сталин Ежова? А почем ты знаешь, может, он и Берию начинает помаленьку раскручивать?

– Пойдем, я провожу тебя до мастерской. Не люблю по-твоему разговаривать: то ты шепчешь, то переходишь на крик… Давай по пути в мастерскую кончим наш разговор.

– Плохой из меня конспиратор?

– Ни к черту! Нервный ты очень.

Директор, кряхтя, держась за поясницу, с трудом поднялся. К двери он шел слегка прихрамывая, негодующе бормоча:

– Наука гласит, что радикулит от простуды. Чепуха, а не наука! Тоже мне медики! Я вот как разволнуюсь, так он, этот треклятый радикулит, сразу в поясницу возле креста вступает. Хоть стой, хоть падай. У меня на медицину свой взгляд, и пусть они мне голову не морочат. А сидел я через эти треклятые нервы, через заразу-радикулит. У меня все это имущество еще с Гражданской войны развинтилось…

Они молча прошагали безлюдным коридором, через черный ход вышли на пустынный хозяйственный двор. По просторному двору, огороженному посеревшим штакетником, по раздавленной гусеницами тракторов присохшей траве потерянно бродил ветер. Он все время менял направление: то тихо веял с запада, то заходил с юга и тогда становился почему-то напористее, сильнее. С утра было прохладно. По блекло-синему небу одна-одинешенька плыла своим путем белая, как кипень, тучка. Из широко распахнутых ворот мастерской доносился шумок токарного станка. В кузнице стоял певучий перезвон молотков, поддержанный астматическим дыханием меха, и тут же, за штакетником, в густой заросли дикой конопли, словно подлаживаясь к звону молотков, яростно, неустанно бил перепел.

Посреди двора, возле колодца, Иван Степанович остановился. Они, не сговариваясь, присели на низкий колодезный сруб.

– Думаю, – сказал Иван Степанович, – что и твой братец будет людей избегать, но это и у него пройдет, утрясется.

– Александр – общительный парень. Во всяком случае, был таким, – раздумчиво проговорил Стрельцов.

– В том-то и дело, «был». А вот каким стал? И это увидим. Все дело в том – одного ли его выпустили? Уж он-то наверняка знает. Вот почему, Микола, приезд твоего брата и для меня праздник. Может, следом за ним и другие, кто зазря страдает, на волю выйдут, а? Что ты на этот счет думаешь, Микола?

– Я бы хотел знать, а не строить догадки…

– Вот именно, знать. Не может же быть, чтобы одного его выпустили.

– А почему бы и нет? Возможно, и одного. Степаныч, подождем приезда Александра. Ничего мы с тобой не знаем, и нечего нам впустую гадать.

Иван Степанович по-женски всплеснул куцыми сильными руками:

– Как это нечего? Да у меня, пока я твоего братца дождусь, голова от думок треснет! У меня вот уже сию минуту начинают нервы расшатываться и радикулит стреляет в поясницу. Еще неизвестно, как я с этого сруба встану, может, на карачках придется до мастерской ползти… Ты, как только отдохнет брат, сразу разузнай у него, что и как. Он в Москве был, он должен знать, что там, в верхах, думают. Походи возле него на цыпочках, осторожненько, с подходцем, а все как есть разузнай и выведай.

Стрельцов просительно сказал:

– Не сразу. Дай ему отдышаться. Понимаешь, Степаныч, ему больно будет обо всем этом говорить. Тут нужен такт, осторожность нужна…

– Ну, брат, ты меня убил с ходу! «Такт, осторожность, ему больно будет…» А мне и другим не больно пять лет правды не знать? Братец ты мой, Микола!

– Все это понятно!

– Ничего тебе не понятно! Ты меня весной как-то на собрании принародно попрекнул, что вот, мол, Иван Степанович трусоват, он, мол, робкого десятка, и пережога горючего боится, и начальства побаивается, и всего-то он опасается… Может, ты и прав: трусоват стал за последние годы. А в восемнадцатом году не трусил принимать бой с белыми, имея в магазинной коробке винта одну-единственную обойму патронов! Не робел на деникинских добровольческих офицеров в атаку ходить. Ничего не боялся в тех святых для сердца годах! А теперь пережога горючего боюсь, этого лодыря Ваньку-слесаря праведно обматить боюсь, перед начальством трепетаю… Пугливый стал! Это одесская шпана сделала смешными наши слова «За что

боролись?». Я знаю, за что я боролся! Встречусь я с твоим братом, так я с ним не о природе и не о наших задачах по сельскому хозяйству буду говорить. Никаких тактов мне не надо, будь они трижды прокляты, мне надо знать, что в Москве происходит, что там, в верхах, думают и чем дышат. Неужели в войну с фашистами влезем, а до этого в своем доме порядка не наведем? Но ты сам оглядись возле братана, а мне потом подскажешь. Тебе, конечно, с родственного бугра виднее.

Иван Степанович со сдержанным рычанием поднялся, долго тер кулаком поясницу, на прощание сказал:

– Разволновался я с тобой окончательно, раскачал нервишки, а теперь этот треклятый радикулит меня прижмет по всем правилам военного искусства. Ехать надо в колхоз имени Берия, а как я поеду? Стыдно, но придется у жены какую-нибудь завалящую подушку просить, под сахарницу подкладывать, иначе не усижу на дрожках. – И тяжело вздохнул: – А ведь воякой был, да еще каким лихим, голыми руками меня не бери, обожгешься! Господи боже мой, и на что этот колхоз именем Берия назвали? Ну кому это нужно и какой тихий дурень это название придумал? Главное, для чего? Нервы расшатывать тем, кто ни за что ни про что в его хозяйство попадал? И колхоз хороший, и люди там добрые трудяги, а едешь туда, и от одного названия тебя мутить начинает хуже, чем с похмелья… Мастера мы всякие крендели выкручивать, ох, мастера, язви его в печенку! Ну, я пошел, Микола! Жду от тебя весточки.

Николай Стрельцов приехал на станцию за час до прихода поезда. Было около девяти утра. Недавно прошел легкий дождь, и на путях пахло не так, как обычно: не только дымом от паровозных топок, мазутом и размытым угольным шлаком, но и каким-то домашним, земным запахом прибитой дождем пыли, смоченной травы, а от сложенных возле красного пакгауза огромных штабелей свежих досок так головокружительно нанесло вдруг сосной, смолистым духом подпаренной древесины, что Николаю на миг почудилось, будто идет он по сосновому бору в знойный полдень, а шипение маневрового паровоза зазвучало, как шум вековых мачтовых сосен. Николай на минуту остановился и даже глаза закрыл, с наслаждением вдыхая запах сосны, тихо улыбаясь далекому детству, неотвязным воспоминаниям. Ведь как-никак, а родился он и до восьми лет прожил на лесном кордоне в далекой Вологодской губернии. И вот оказывается, что даже четверть века, долгие годы жизни на степных просторах юга России не могли выветрить цепкой привязанности к аромату леса, к бодрящему и милому запаху сосны… «Странно устроен человек», – подумал Николай, взбираясь на платформу и еще раз оглядываясь на бледно-золотые штабеля досок по ту сторону путей. Сейчас на них светило выглянувшее из-за туч солнце, и верхние, потемневшие от непогоды, шероховатые доски курились легким паром, источая устойчивый, далеко расплывающийся запах смолья, уютный запах будущих хозяйственных построек, оседлой жизни.

Накануне вечером Николай, постучавшись, зашел к Ольге в спальню. Она убирала волосы перед сном, стояла спиной к двери. Николай как-то сразу увидел ее слегка похудевшую шею, резко затененные трогательные впадины возле крохотных ушей. Тщетно стараясь подавить непрошеное чувство жалости, он очень тихо сказал:

– Я хочу просить тебя, Ольга, об одном: приедет Александр, и ты сделай все, чтобы он не заметил… не заметил, что между нами…

Она стремительно повернулась к нему лицом. Страдальческая улыбка тронула ее губы. Снизу вверх она испуганно взглянула на Николая, прошептала:

– Я постараюсь, Коля, вот как только ты… сумеешь ли ты сдержаться?

Николай кивнул головой, вышел, тихо притворил за собой дверь.

А теперь он ходил по безлюдной платформе, курил, вспоминал вчерашний разговор с женой, ее вымученную, жалкую улыбку и, стискивая зубы, чувствовал, как сердце его разрывается от жалости к прежней Ольге, от огромной человеческой боли.

С тяжким, давящим грохотом прошел товарный состав, влекомый паровозом ФД. На платформе долго еще стоял маслянистый жар, оставленный мощным телом паровоза. Потом показался скорый.

На этой маленькой станции сошло всего лишь несколько пассажиров.

Николай торопливо шел от конца платформы. Возле седьмого вагона стоял человек среднего роста, с широкими прямыми плечами. Он высоко поднял над головой темную фетровую шляпу. Худое, бледное лицо его морщинилось улыбкой, и, как кусочки первого ноябрьского льда, сияли из-под белесых бровей ярко-синие выпуклые влажные глаза.

Николай шел размашистым шагом, а потом не выдержал и побежал, как мальчишка, широко раскинув для объятия руки.

С приездом гостя за каких-нибудь два дня круто изменилась жизнь в семье Стрельцовых. Ольга заметно оживилась, повеселела, почти не выходила из дому, с прежним рвением помогая Серафиме Петровне в стряпне и других хозяйственных хлопотах. Даже к маленькому Коле вернулась временно утраченная детскость: два дня он не отходил от дяди Саши, неотступно сопровождая его в прогулках по Сухому Логу, по вечерам не ложился спать до тех пор, пока не выслушивал очередной, приспособленный к его восприятию рассказ бывалого дяди Саши о Гражданской войне, слушал, не сводя зачарованных глаз с лица рассказчика, а потом долго лежал в кровати, с широко раскрытыми глазами и счастливой мечтательной улыбкой. На вторую ночь перед сном он забрался в кровать к Серафиме Петровне, жарко зашептал ей на ухо:

– Бабуля, дядя Саша, между прочим, говорил сегодня, что полководец Жлоба был рябой. Разве настоящий полководец может быть рябой?

От природы смешливая, всегда готовая на улыбку, Серафима Петровна затряслась от сдерживаемого смеха.

– Ох, Коленька! Ну почему же не может? Рябыми все могут быть, никому не заказано.

– А я думал, что рябые только разбойники бывают, – разочарованно протянул Коля и побрел к своей кроватке, осмысливая новое для него открытие в жизни.

Через минуту он обиженно проговорил:

– И нечего смеяться, и не трясись, пожалуйста, под своим одеялом. Ты койку трясешь, а я уснуть не могу. Ты вздорная женщина!

– О господи! Это еще откуда ты взял? – задыхаясь, спросила Серафима Петровна.

– Мы вчера шли с дядей Сашей в мастерскую, а какая-то женщина ругала соседку неприличными словами. Дядя Саша мне сказал: «Не слушай ее, она вздорная женщина». Вот и ты такая же вздорная.

– Но ведь я же не ругаюсь, Коленька?

– Зато смеешься ночью, когда никто не смеется, и заснуть мне не даешь. Вздорная ты, бабуля! – И уже полусонным голосом продолжал, медленно и вяло выговаривая слова: – А рябые – все разбойники, я точно знаю. Вот дядя Василий, плотник, ты знаешь, он тоже рябой. Я у него спросил, когда он в школе забор чинил: «Дядя Вася, вы, когда были молодым, вы были разбойником?» Он говорит: «Еще каким! Особенно по женской части». Я у него спросил: «Это как „по женской части“?» А он говорит: «Женские монастыри грабил, монашек разорял». И больше ничего не сказал, только усы разглаживал и смеялся глазами, потом набрал в рот гвоздей и совсем перестал со мной разговаривать, начал доски прибивать. За два раза гвоздь по самую шляпку забивал, вот как! Он хотя и был разбойником, но хороший дядька. Он всегда глазами смеется и никогда не ругается, как ты говоришь, черным словом. Он один раз при мне очень сильно прибил палец молотком и только сказал: «Ах, мать твою бог любит!» Бабуля, это приличное ругательство или неприличное? Ты слышишь, бабуля, или ты спишь?

Серафима Петровна, не отвечая, молча уткнулась лицом в подушку, а когда вволю насмеялась – мальчик уже тихо посапывал во сне.

Событием огромной важности для него стала поездка на автомашине в районный центр, куда дядя Саша ездил, чтобы стать на партийный учет в райкоме партии. Там, в райцентре, они на равных закусывали в столовой, причем если дядя и шофер выпили только по одной рюмке водки, то на долю маленького Коли пришлась целая бутылка лимонада, напитка, о котором в Сухом Логу никогда и слыхом не слыхали.

Из поездки они вернулись закадычными друзьями. Мальчишеская любовь и привязанность были без особых стараний надежно завоеваны добродушным и веселым дядей. И когда за ужином Коля сказал: «Я думаю, дядя Саша, переселиться от бабушки к тебе. Ты все-таки мужчина, мне с тобой, пожалуй, будет удобнее спать», Ольга вспыхнула, в ужасе воскликнула: «Коля! Да как же ты смеешь обращаться к дяде на „ты“? Сейчас же извинись, негодный мальчишка!» Но Александр Михайлович немедленно пришел на выручку своему другу: «Что вы, Олечка, мы перешли с ним на „ты“ по обоюдному согласию. Нам в постоянном общении так проще».

Ничего не скажешь, умел старый солдат – общительный и простой – подобрать ключик к каждому сердцу: Ольгу он покорил вежливой предупредительностью, немудреными комплиментами и плохо скрытым восхищением ее красотой. Она отлично видела, как он втайне любуется ею, и тихонько гордилась и даже немного кокетничала с ним, так, самую малость, в пределах родственных отношений. Серафима Петровна, сраженная простотою и офицерской услужливостью гостя, была прямо-таки потрясена, когда он обнаружил в передней под вешалкой ее разорванную туфлю и так искусно зашил, что впору бы и самому хорошему мастеру обувного цеха. Для этого маленький Коля раздобыл у соседа-сапожника шило и тонкую дратву, а починку они произвели, скрываясь ото всех на конюшне.

Николай только улыбался про себя, глядя на то, как брат преуспевает и с диковинной быстротой становится в доме своим человеком.

– Где ты, Саша, выучился сапожному мастерству? – спросил он, разглядывая тещину туфлю.

– В лагере, – коротко ответил Александр. – В Академии имени Фрунзе нас этому не обучали, а вот в другой академии за четыре года я многое постиг: могу сапожничать, класть печи, с грехом пополам плотничаю. Нет худа без добра, браток! Только тяжело доставалась эта наука в тамошних условиях…

В комнату вошла Серафима Петровна, и разговор прервался.

* * *

В субботу рано утром Александр Михайлович и маленький Коля ушли на речку с удочками. Через два часа они вернулись, торжествующие, гордые успехом, потребовали у Серафимы Петровны большую эмалированную чашку и молча, с истинно рыбацким достоинством высыпали из садка груду живых, трепещущих пескарей.

– Любезная Серафима Петровна! Здесь этих милых рыбок ровным счетом шестьдесят три штуки. Если их почистить, зажарить на сковороде на коровьем топленом масле, чтобы они поджарились до хруста, а затем залить их десятком яиц, то лучше завтрака не придумаешь! Это мечта всех порядочных рыболовов! – сказал Александр Михайлович.

В конце завтрака, когда маленький Коля незаметно улизнул из-за стола, Александр Михайлович долго смотрел на Серафиму Петровну смеющимися глазами, постукивал по столу пальцами, озорно улыбался.

– Чему это вы, Александр Михайлович, посмеиваетесь? – невольно краснея, спросила Серафима Петровна.

– Я не посмеиваюсь, а просто счастливо и, может быть, немножко глупо улыбаюсь, глядя на вас. И думаю: до чего же вы смолоду были, очевидно, победительной женщиной! На вас

и сейчас-то не налюбуешься, а что же было лет двадцать назад? Мужчины, наверное, падали навзничь?

– Смолоду и вы, Александр Михайлович, были, наверное, хват-парень…

– Не пришлось, матушка, побыть хватом, не успел, война все скушала!

– Так уж и все?

– Вчистую! Помилуйте, двадцати лет пошел в царскую армию, четыре года Мировой войны, потом – Гражданская война, потом всякие банды и бандочки, потом женился. Когда же мне было проявлять свою прыть? Вот вы – другое дело. Вы рано овдовели…

– Двадцати одного года.

– В двадцать один год и вольная казачка!

– Хороша вольная! А двое малых детей на руках осталось, это как? Какая уж там вольная! Скорее подневольная.

– В каком году вы овдовели?

– В восемнадцатом.

– Боже мой, как же я вас не встретил в те баснословные года? А ведь я с полком проходил через ваш Мариуполь.

– Значит, не судьба, – притворно вздохнула Серафима Петровна. И молодо рассмеялась. – А если бы и встретили, что толку?

Александр Михайлович в наигранном удивлении поднял белесые брови:

– Как это, что толку? Встретил бы и покорил.

– Так уж и покорили бы?

– Как Бог свят! Накинул бы на вас бурку, сказал «моя!» – и баста!

– Самонадеянностью вас Бог не обидел, а ведь я тогда проворная была, так бы из-под вашей бурки и выскользнула!

– Извините, Серафима Петровна, не так бы я ее накинул, чтобы вы соизволили выскользнуть. Ведь тогда я был огонь-парень. Это теперь головешкой от костра стал… Представьте на минутку двадцатичетырехлетнего командира полка: сапоги с маленькими офицерскими шпорами, с малиновым звоном, красные суконные галифе, кожаная куртка, слева – шашка с серебряным темляком, справа, наперекрест, – маузер на ремне, в деревянной колодке, папаха слегка заломлена, в глазах – синий пламень… Блеск! Неотразимость! И никакой пощады прекрасному полу! Пройдешься по улице этаким чертом в кавалерийскую развалочку, и встречные барышни – глазки долу, из боязни опалить их, и только нежные вздохи несутся тебе вслед… А некоторые того…

– Что это означает «того»? – Серафима Петровна, облокотившись о стол, смотрела на собеседника мокрыми от смеха глазами, полные румяные губы ее дрожали в неудержимой улыбке.

– То есть как это «что означает»? Полуобморочное состояние, вот что! А в отдельных, особенно тяжелых случаях шок, ни больше и ни меньше. Мы в то время шутить не умели, дорогая Серафима Петровна! Я вот и теперь иногда встречаю женщин моего возраста и моложе с невыплаканной печалью во взоре и невольно думаю: «Вот и еще одна жертва Гражданской войны и собственной неосторожности. В молодости посмотрела пристально, чересчур пристально на такого молодца, каким, скажем, был я, и, пожалуй, готова, – сердце разбито навеки и вдребезги!» Все это даром для вашего брата – женщин не проходит, нет, не проходит. Так как же вы смогли бы уцелеть, если бы встретились тогда со мною?!

– Хотя я и неверующая, но думаю, что не иначе святая Варвара – покровительница слабых женщин – уберегла меня. Не встретилась же, вот и уцелела!

– И зачем этой Варваре нужно было путаться в наши дела? Кто ее просил? Ох уж эти мне женщины, хотя бы и святые! Из-за нее, оказывается, все и пропало!

Александр Михайлович сжал лысеющую голову обеими руками, стал горестно раскачиваться, восклицая в нарочитом отчаянии:

– Все погибло, и Варвара всему виной! Никакая она не святая, а типичная разрушительница чужого счастья и к тому же завистница! Боже, как мелки в своих чувствах женщины, даже святые!

– Александр Михайлович, миленький, перестаньте! Я больше не могу! – задыхаясь от смеха, плачущим голосом просила Серафима Петровна.

Ольга, тихо улыбаясь, вслушивалась в игривый разговор расходившихся стариков, а Николай тем временем в коридоре приглушенно говорил в телефонную трубку:

– …молчит… Пока ничего не было, Степаныч… Я тоже так думаю. Ну, подожди. Немедленно расскажу. Ну, будь здоров.

Женщины ушли управляться по хозяйству, а братья все еще сидели за столом, пили крепчайшей заварки чай по-старинному, вприкуску, обливаясь потом, вели неторопливый разговор.

В распахнутые окна дул теплый ветер. Он парусил, качал тюлевые занавеси, нес в комнату оставшийся еще с ночи тонкий смешанный запах петуний, медуницы и ночной фиалки, росших под окном, и грубоватую горечь разомлевшей под солнцем полыни со степного выгона, подступившего к самому двору. Где-то под потолком на одной ноте басовито гудел залетевший шмель. Тоненько и печально поскрипывали оконные ставни.

Александр Михайлович, перед тем как встать из-за стола, долго и молча смотрел на Николая затуманившимися глазами, потом тихо проговорил:

– Смотрю на тебя, Коля, и диву даюсь: до чего же ты похож на маму! Та же улыбка, та же манера поводить плечами и вздергивать голову, когда тебе противоречат, тот же рисунок бровей, глаза… Только вот глаза у тебя изменились, погрустнели как-то твои черные – мамины – глаза… Взрослеешь, что ли?

– Пора. Расколол уже четвертый десяток и не заметил как… Совсем не заметил, Саша! Годы – все мимо, как во сне!

Николай отвернулся к окну и – то ли от мягкого, задушевного тона, каким были сказаны слова старшего брата, то ли от внезапно резнувшего сердце воспоминания о покойной матери – вдруг почувствовал, как когда-то в детстве, нестерпимую жалость к себе. И оттого ли, что действительно уже ушла за далекий степной горизонт, потонула в голубой дымке молодость, оттого ли, что непоправимо рушилась семейная жизнь, – это короткое, как ожог, чувство боли было так остро, что Николай ощутил на глазах жаркие слезы и, устыдившись их, устыдившись своей детской чувствительности, бодро сказал, все же не поворачивая от окна головы:

– Хватит о невеселом! В такое утро о грустном не говорят. А ты знаешь, как раз накануне твоего приезда была девятая годовщина маминой смерти… Ну и хватит!

Заметив его волнение, спохватился и Александр Михайлович:

– А и правда, братик, не ко времени затеял я этот разговор. Но ведь, черт их дери, эти воспоминания, они приходят, не считаясь с твоим настроением, в любое время суток, как зубная боль. Что же ты не сказал насчет годовщины, когда я приехал? Ну, понимаю, хватит. Слушай, Коля, а не закатиться ли нам сегодня на серьезную рыбалку? Что-то пескари меня вздразнили. Ты говорил, что где-то километрах в десяти есть глубокий омут. Может, туда махнем с ночевкой? Нам бы хоть десятка два окуней наловить и ушицы сварить на берегу… Как ты на это смотришь, Коля?

– А я так смотрю: до двенадцати – сборы, затем запрягаю в дрожки Воронка – и айда.

– Это мне нравится! Чем я могу тебе помочь?

– Единственно тем, что не будешь мешать мне собираться.

– Это мне еще больше нравится. Не забудь, подкинь мне какие-нибудь свои старенькие штаны. Не в костюме же ехать на рыбалку.

– Будет исполнено. Да! Разыщи Николашку, и наройте с ним навозных червей. Он знает, где их добыть. И пожалуйста, не потакай ему во всем, его с собой не возьмем, ночью комары его там заедят.

– Коля, червей мы нароем и парня отговорим от поездки, но зачем отправляться в самую жарищу?

– Ухи хочешь? Ну, так и надо ехать пораньше, чтобы сварить рыбу засветло и не возиться с ней в потемках.

– Резонно. Едем, невзирая на жару. Ради ухи из окуней согласен на любую жертву. Нам их и надо всего лишь десяток изловить. Неужто не осилим эту задачу? Пообещай мне тарелку хорошей ухи, и я пешком уйду!

К двум часам пополудни они были уже у реки. Николай выпряг и стреножил Воронка, уложил в кошму все рыбацкое имущество, предложил:

– Пойдем, посмотришь на плес. Называется он Пахомова яма. Старик Пахом когда-то, при царе Горохе, утонул тут, в память этого события и яму назвали его именем. Плес тебе понравится, уверен.

Увязая по щиколотку в сыпучем песке, с трудом продираясь сквозь заросли кустов белотала-перестарка, они спустились по пологому откосу к неширокой песчаной косе.

Перед ними лежала, словно в огромной, врезанной в землю раковине, зеркальная водная гладь метров шестидесяти шириной. Противоположный берег плеса был обрывист, крут, по верху его вплотную к самому обрыву подступал старый, не тронутый ни порубкой, ни прочисткой смешанный лес: невысокие, но кряжистые, в два-три обхвата, дубы, карагачи, вязы вперемежку с дикими яблонями, вербы, тополя и осины, – все это буйное смешение лиственных деревьев с густейшим подлеском зубчатой грядой тянулось вверх и вниз по течению реки, а вдали, на границе с холмистой степью, высоко взметнув свои вершины, ловя верховый ветер, величаво высились осокори и ясени с могучими, похожими на мраморные колонны, бледно-зелеными стволами.

Прямо напротив спуска к реке лес разделялся широкой прогалиной. Посредине одиноко красовался древний вяз с такой раскидистой кроной, что в тени ее свободно разместилась отара – голов в триста – овец. Угнетенные послеполуденным зноем, овцы, разделившись на несколько гуртов, теснились вкруговую, головами внутрь, изредка переступая задними ногами, глухо пофыркивая. Даже на этой стороне был ощутим резкий запах овечьего тырла.

Неподалеку от вяза на солнцепеке, опершись обеими руками на костыль, недвижно стоял седобородый пастух – старик, с головою, повязанной выгоревшей красной тряпицей, в грязных холщовых портах, в длинной, до колен, низко подпоясанной рубахе.

Что-то древнее, библейское было в живописной картине: вяз патриаршего возраста, старик-пастух с овцами, не тронутый человеческою рукою первобытный лес и дремучая тишина, изредка прерываемая посвистом иволги да воркованием горлинки, – все это как бы сошло с полотна старинного художника и воплотилось в жизнь, озвученную и неповторимо красочную.

Взглянув на Николая блестящими глазами, Александр Михайлович прошептал:

– Коля, да ведь это – как в сказке! Черт возьми, никогда не думал увидеть такое…

– Хорошее место, – просто сказал Николай. – Давай сносить к воде пожитки, рыбалить и ночевать будем на той стороне.

– А где же лодка?

– Затоплена, сейчас пригоню ее. Не разувайся, песок очень горячий, не выдержишь.

– Да что ты, брат, по такому девственному песку, где нога человеческая не ступала, и в обуви? Не могу, это – кощунство!

Он присел на песок, проворно стащил полуботинки, носки, с наслаждением пошевелил пальцами. Потом, после некоторого колебания, снял штаны. Иссиня-бледные, дряблые

икры у него были покрыты неровными темными пятнами. Заметив взгляд Николая, Александр Михайлович сощурился:

– Думаешь, картечью посечены? Нет, тут без героики. Эту красоту заработал на лесозаготовках. Простудил ноги, обувка-то в лагерях та самая… Пошли нарывы. Чуть не подох. Да не от болячек, а от недоедания. Давно известно, «кто не работает, то не ест», вернее, тому уменьшают пайку, и без того малую. А как работать, когда на ноги не ступишь? Товарищи подкармливали. Вот где познаешь на опыте, как и при всякой беде, сколь велика сила товарищества! А нарывы, как думаешь, чем вылечил? Втирал табачную золу. Более действенного лекарства там не имелось. Ну и обошлось, только до колен стал как леопард, а выше – ничего от хищника, скорее наоборот: полный вегетарианец. Надеюсь, временно…

Опираясь обеими ладонями на песок, слегка откинувшись назад, Александр Михайлович смотрел на Николая снизу вверх, улыбался. И так не вязалась его простодушно-детская улыбка с грубоватым юмором, что Николай только головой покачал:

– До чего же неистребим ты, Александр! Я бы так не мог…

– Порода такая и натура русская. Притом – старый солдат. Кровь из носа, а смейся! Впрочем, Коля-Николай, и ты бы смог! Нужда бы заставила. Говорят же, что не от великого веселья, а от нужды пляшет карась на горячей сковороде… Ну, нечего дорогое время терять, пошли, а то и на уху не наловим. Нет, это невозможно! Такой плес, и чтобы без ухи остались? Пошли. Хоть мелочишки бы наскрести на ушицу, хоть на самую скудную! Нам пяток окуньков, и хватит. Я, братец, десять лет настоящей ухи не хлебал.

– На добрую уху ты один должен наловить.

– А ты где же будешь? В свидетелях?

– Мне надо заготовить дровишек на ночь, стан оборудовать, словом, я – по хозяйственной части, а ты – обеспечиваешь рыбой. У тебя три часа времени, уху надо сварить засветло, так что все от твоего старания зависит…

– Коля, один я не смогу, – умоляюще проговорил Александр Михайлович. – Ради бога, давай вдвоем ловить, иначе останемся на одном чаю. Я не могу ручаться за успех, а ты опытный рыбак. Нет, только вдвоем! И потом, мы не можем так безрассудно рисковать. Я видел, как Серафима Петровна положила в корзинку хлеб, картошку, укроп, лук репчатый и зеленый, даже пол-литра водки она, добрая душа, выдала нам. Не хватает для ухи сущего пустяка – рыбы, и вдруг ты все подвергаешь ненужному, глупому риску. Я же один ни черта не поймаю!

Николай был непреклонен:

– Хочешь ухи – добывай рыбу. У меня без этого забот хватит. Надо еще к завтрашней заре ракушек-перловиц ведро натаскать.

– А это для чего?

– Для сазанов.

– Коля, это – эфемерная штука, сазаны. Их может не быть, а без ухи мы не можем. На кой черт нам журавль в небе, если нужна синица, а она почти в руках.

– Вот и бери ее, эту синицу. И вообще не хнычь. Генерал, а хнычешь. Должен наловить – значит, лови. Рыбы тут, как в садке, а ты ноешь. Переедем на ту сторону, и я поймаю тебе штук десять верховочек. Режь каждую на три части, окунь охотнее берется на головку и хвостик. Целиком рыбку не насаживай, приманишь щуку, и – прощай крючок! Глубина там с лодки – четыре маховых, то есть шесть метров. Неподалеку, чуть подальше заброса, – карша, огромный вяз. Он весь под водой. Пристанище окуней. Забрасывать будешь так: излишек лесы – удилище-то трехметровое – соберешь в левую руку кругами, правой – от себя, снизу вверх бросок, и леса несет насадку на всю длину. Грузило, ты увидишь, небольшая картечина, сигарообразная форма придана ему для того, чтобы не блюкало при забросе.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.